

ШИМЧУК Э. Г.

О ПРОЦЕССАХ АРХАИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА XI—XVII ВВ.

Тема, обозначенная в названии статьи, тесно связана с вопросом о соотношении книжной и народно-разговорной лексики в словаре русского литературного языка XI—XVII вв. Не касаясь дискуссионных вопросов истории русского литературного языка этого времени (обсуждение их может стать темой специальной работы), мы исходим в дальнейшем из достаточно традиционного представления о том, что русский письменно-литературный язык возник в течение короткого исторического периода (X—XI вв.) как результат взаимодействия двух систем — церковнославянской и древнерусской (древневосточнославянской) — и существовал в виде нескольких разновидностей, воплощенных в разнообразных жанрах древнерусской и старорусской письменности.

Развитие письменно-литературного языка XI—XVII вв. связано с двумя основными хронологическими периодами: древнерусским (XI—XIV вв.) и старорусским (конец XIV—XVII вв.). Рубеж между ними знаменует так называемое второе южнославянское влияние. В рамках древнерусского этапа выделяется киевский (XI—XIII вв.): хотя практически задача установления лексического фонда, характерного для литературного языка Киевской Руси, по-видимому, неразрешима, принципиально важно определить совокупность лексических элементов, которые можно рассматривать в качестве отличительных примет наиболее ранней восточнославянской письменно-литературной традиции. О специфике раннего церковнославянского-русского лексического взаимодействия следует судить по тому, что церковно-книжная традиция на Руси оказывается изначально связанной не только с воспроизведением появившихся в культурном фонде текстов, но и с созданием новых: иначе говоря, традиция, т. е. соответствие древнему образцу, не исключает, а предполагает новаторство, активный подход к книжному языку (достаточно указать, что в священных канонических книгах многочисленны лексические замены [1], что русские писцы свободно обращаются с составом богослужебных книг, что необходимость не только слушать, но и понимать богословские книги уже в XI—XIII вв. приводит к созданию русских толкований канонических книг [2]). Практически параллельно с церковной на Руси создается и развивается письменная светская литература, которая вбирает в себя, помимо элементов церковно-книжной, устную народно-поэтическую и юридическую традиции. В лексике светских жанров в значительно большей мере (во всяком случае, до конца XIV в.) представлен слой, отражающий восточнославянскую языковую традицию. Показательно, однако, что до XVII в. очень трудно разграничить историю лексики русских светских произведений (летописей, исторических сочинений, паломнической литературы) и историю канонической русско-церковнославянской лексики.

Общепризнано, что лексическое своеобразие русского письменно-литературного языка ранней поры предопределяется канонизацией ранних, преимущественно конфессиональных, текстов и обусловленными ею процессами консервации архаических явлений. Справедливо подчеркивалось, что парадоксальным образом активизация книжных инновационных процессов — со времени так называемого второго южнославянского влияния — также связана со стремлением сохранить языковую архаику.

Значительно меньшее внимание истории литературного языка обращали на связь явлений и процессов, обнаруживающихся в ранней истории лексики русского письменно-литературного языка, с явлениями и про-

цессами, характеризующими сферу народно-разговорного языка восточных славян. Между тем комплексный анализ древнейших русских книжно-письменных данных приводит к мысли о том, что раннее русско-церковнославянское взаимодействие (XI—XII вв.) на лексическом уровне — это процесс о с в о е н и я формирующейся системой русского письменно-литературного языка церковнославянских слов и значений слов: понять историю русской литературной лексики раннего этапа нельзя без учета особенностей «воспринимающей» стороны и способов освоения ею «воспринимаемого». Трудность анализа внутренней взаимосвязанности гетерогенных лексических элементов исторически складывающегося письменно-литературного языка обусловлена тем, что в о с п р и н и м а ю щ а я (изначально — только устная) русская традиция (в которой надо различать — что еще более осложняет задачу — традиции народно-поэтическую и юридическую), проникающаяся элементами «чуждой» письменно-литературной традиции, изучена пока совершенно недостаточно.

В этом нет ничего удивительного: памятников, последовательно отражающих особенности древнерусского народно-разговорного языка, до XVI в. немного, так что изучение народно-разговорной лексики требует обращения к реконструкции (и хотя историю литературной лексики можно воссоздать — в основных чертах — непосредственно по текстам, определить, как соотносятся в ней элементы специфически книжные и народно-разговорные, — очень трудная задача).

Однако в последние десятилетия положение меняется: реконструкция некоторых фрагментов народно-разговорного языка древнейшего периода и более полное выявление совокупности стимулов, которые определили развитие русской литературной лексики начиная с эпохи древнейших памятников, обеспечиваются растущими успехами славянской и русской этимологической, исторической и современной лексикографии [3], которая — при использовании необходимой методики анализа — уже может дать достаточно представительный материал по истории не только чисто книжной, но вовлеченной в сферу литературного языка народно-разговорной лексики.

Ориентируя указанным образом поиски, можно показать, что в особенностях процессов архаизации некоторых слов и значений слов русского литературного языка XI—XVII вв. выявляется а к т и в н а я роль народно-разговорного языка тех регионов и центров (в первую очередь Киева и Москвы), с которыми связано существование письменно-литературного языка.

Активность воспринимающей стороны предопределялась тем, что одна (при этом значительная) часть церковнославянской лексики осознавалась как русская, в другой — выделялись достаточно многочисленные ряды слов, соотносившихся с русскими словами по регулярным правилам, что давало возможность при совпадении значений отождествлять их, при расхождении — присваивать церковнославянским формам свои, русские значения (семантическая индукция такого типа могла приводить к развитию многозначности определенных лексем книжно-письменного языка, о чем подробнее см. ниже).

Пересаженная на почву языка, генетически очень близкого тому, на основе которого она возникла, церковнославянская лексика естественно вступает в контекстный контакт с этим языком.

Характерно, что в древнейший период (XI—XIII вв.) русизм, для которого находилось соответствие в церковнославянском языке, мог достаточно свободно заменять в книжном тексте церковнославянское слово ¹. При отсутствии церковнославянского слова ² ни переводчик, ни писец не

¹ Эту очень важную особенность механизма взаимодействия лексики церковнославянского и русского языков очень точно охарактеризовал еще Н. Н. Дурново, см. [4].

² Отсутствие в конкретном случае могло означать незнание переводчиком (писцом) слова, существовавшего в словаре церковнославянского языка: так объясняют наличие окказиональных, характерных только для определенных авторов или писцов русизмов в ранних канонических памятниках или списках памятников, см., например, [5].

могли образовать, например, славянизированные неполногласные формы от русских слов соответствующей структуры — они просто употребляли русские слова с полногласием³. Такие употребления и свидетельствуют о том, что книжники древнейшей поры исходили из своей лексической системы. Этому не противоречит отчетливое стремление следовать книжной архаической традиции. Так, превращение слов типа *время* в обычные, прочно усвоенные слова литературного языка (к XIII—XIV вв.) приводит к тому, что переписчики не чередуют их с русскими: конкуренция русского и церковнославянского соответствий завершается вытеснением русского члена, церковнославянские корреляты оказываются более соответствующими потребностям формирующегося литературного языка выразителями необходимого ему содержания (такова судьба русизмов типа *болого, верема, полово, пороздний*).

Впрочем, история многих других слов не согласуется с указанной тенденцией. Анализ более сложных случаев невозможен без учета особенностей словообразовательной и семантической соотносительности в пределах гнезд или рядов русских и церковнославянских слов⁴.

Во-первых, может быть выделен разряд славянизированных русизмов (типа *оградъ* «огород» [71]), в структуре которых вычленяется церковнославянский коррелят русской частотной корневой или префиксальной морфемы с четко осознающейся семантикой: так как соответствующая морфема и в церковнославянском, как правило, характеризуется теми же признаками, следует считаться с соотносительностью русского и церковнославянского элемента на словообразовательном уровне и возможностью образования на русской почве лексемы, стилизованной в духе влияющей традиции. Интересно, что в период так называемого второго южнославянского влияния возрастает число подобных книжных образований.

Засвидетельствованы также случаи, когда русское слово, не имеющее соответствия в старо- и церковнославянском языке, тем не менее преобразуется по усвоенной модели (что можно расценить как доказательство ее продуктивности). Так возникают гиперкорректные эфемерные *кляколь* [известно по единичным употреблениям в Хронике Георгия Амартола (по спискам XIV—XV вв.), Повести о Царьграде (XVI—XV вв.) и Топографии Козмы Индикоплова (XVI в. ~XIV—XV вв.)] и даже *планити* «пленить, взять в плен», *планъ* «плен; добыча», *планение* «пленение; рабство», *планьникъ, планикъ* «пленник»; «тот, кто хочет пленить»; «захватчик», известные по немногочисленным (около 10 в общей сложности) употреблениям в текстах XIV—XVI вв. Подобные искусственные книжные образования, не получившие, по-видимому, устойчиво закрепленного за ними значения, не имеют длительной традиции употребления. В списках XVII в. они уже не встречаются; не засвидетельствованы они и церковнославянскими словарями, в отличие от слов типа *оградъ* «огород», которые представлены достаточно многочисленными употреблениями (последнее слово фиксируется не только церковнославянско-русскими словарями, но и В. И. Далем).

Еще более сложными оказываются отношения членов коррелятивных пар *и н о г о з н а ч н ы х* (в каждом из языков) слов (такие слова входят в фонд активной ядерной лексики контактирующих языков). Оба члена могут сохраняться в литературном языке, но при исходном несовпадении семантических объемов славянизм способен усвоить значения восточнославянского соответствия. Так, русск. ц.-слав. *глава*, часто встречающееся в летописных и других оригинальных древнерусских текстах в значении «голова», употребляется также в русских памятниках в значении «че-

³ Характерные примеры — слова типа *удоробъ* «худой горшок» в Изборнике 1073 г., *коростаяъ* «покрытый коростой, паршивый», *береста*, ср. р., «береста» у блестящего писателя XIII в. Кирилла Туровского.

⁴ О том, что изучение истории церковнославянских слов разных типов в русском литературном языке требует учета словообразовательной, лексикологической и семантической точек зрения, писал в 1927 г. В. В. Виноградов, см. [6].

ловец (как единица счета людей); пленный". Полагаем, что это значение оформилось в древнерусском литературном языке под влиянием русского коррелята [ср., с одной стороны, значения русск. *голова*: 1. голова; 2. „человек (как единица счета людей)“; „пленный“; „человек, душа (как единица обложения)“; 3. „убитый“⁵, — и, с другой стороны, значения ст.-слав. *глава*: 1. голова; 2. „глава книги“].

Русский коррелят мог передать старославянскому соответствию также особенности своей сочетаемости: характерно, в частности, что в оригинальных древнерусских текстах нередко встречаются сочетания типа *главу покладати* (*покласти*, *полагати*, *положити*, *приложити*, *складывати*, *сложити*) „класть (сложить) голову, отдать (отдавать) жизнь“. В старославянских текстах подобных сочетаний нет, между тем как древнерусские *голова положити* (*сложити*, *складывати*) „сложить (класть) голову“ и ряд других (*головами свести*, *головой добыти*, *головой выдавати*, *голову блюсти*, *головы добъзжати*, *головы не щадити*) определенно связаны с русской устной поэтической традицией. Подчеркнем, что нет никаких оснований процесс усвоения старославянским коррелятом русских значений и русской сочетаемости датировать периодом после XIV в.: примеры, документирующие указанные особенности функционирования старославянизма на русской почве, представлены в русских текстах XII—XIV вв.

Подведем итоги. Вытеснение русизмов (типа *болого*, *верема*, *половы*) за пределы русского литературного языка — в том случае, если старославянизмы оказывались более удачными обозначениями содержания, необходимого языку на новом этапе, славянизация морфем русских слов (типа *оградѣ*), обогащение семантики и развитие сочетаемости старославянизмов под влиянием семантики и сочетаемости русских соответствий — в том случае, если русизмы становились активными и достаточно устойчивыми элементами новой складывающейся литературной системы (в парах типа *глава* — *голова*), являются древнейшими (до XIV в.) процессами арханизации лексики русского литературного языка в духе древней церковнославянской традиции. Объяснить особенности протекания этих процессов, как видно, можно лишь в том случае, если учитывается формирующее действие собственной воспринимающей лексической системы.

Процессы дифференциации значений старославянско-русских коррелятов в древнерусский период намечаются, но протекают вяло. Так, по нашим наблюдениям, к XIV в. отчетливо противопоставляются по некоторым значениям члены пар *власть* — *волость*, *глава* — *голова*. Активизируются процессы дифференциации значений после второго южнославянского влияния, но рассмотрение их — специальная тема, заслуживающая отдельной работы. Здесь же подчеркнем лишь, что в русском литературном языке XI—XVII вв. традиция употребления формально отмеченных арханизированных слов, имеющих цельнолексемное или словообразовательное соответствие в церковнославянском, весьма устойчива.

В языке древнерусской письменности выделяются, далее, книжные лексемы, которые не имеют регулярных формальных отличий от народно-разговорных соответствий. С генетической точки зрения такие слова разнородны: они могут быть возведены к праславянским словам общеславянского или диалектного распространения, могут быть заимствованиями, перешедшими в древнерусский литературный язык книжным путем.

Для многих слов указанного типа находятся многочисленные ряды тождественных или частично сближающихся с ними по значению в определенных контекстах слов: так, книжное слово ранних древнерусских текстов *бръние*⁶ входит в такой ряд: *грязь*, *глина*, *гнусть*, *гнои*, *навозъ*, *калъ*,

⁵ Здесь и далее приводим только те значения многозначных слов, которые имеют непосредственное отношение к интересующим нас тенденциям развития семантической структуры слова.

⁶ Это праславянское слово известно старославянскому языку, этимологизуется на почве южнославянских, а также современных белорусских и, возможно, украинских соответствий [8].

мотыло, пражъ, пьрсть. Тенденция к консервации канонической лексики (поддерживающаяся таким свойством письменного языка, как его *о б р а т и м о с т ь*) проявляется в том, что в письменном языке рассматриваемых эпох относительно мало абсолютных утрат. Характерно, в частности, что *бръние* и производные, в XI—XIII вв. встречающиеся преимущественно в русских списках конфессиональных памятников, с XIV в. становятся достаточно частотными в русских памятниках — не только церковных, но и светских. Есть основания связывать активизацию употребления этих лексем с тенденциями периода второго южнославянского влияния, проявляющимися, как отмечалось не раз в последние годы, в интенсификации употребления элементов, характерных для киевской поры. Показательно, впрочем, что *бръние* (в другом орфографическом оформлении — *берние*) толкуется в Алфавите XVII в. (следовательно, предполагается, что оно может оказаться темным, непонятным). Если для киевской поры с известной осторожностью можно допустить, что интересующее нас слово поддерживалось традицией диалектного употребления его соответствий, то в московский период оно, по-видимому, понятно лишь узкому кругу начитанных в церковных текстах людей. Однако слово не угасает: его производные *бранный* «легкоразрушаемый, слабый» и *бренность*⁷ «свойство и состояние бренного» доживают до наших дней в сфере высокой лексики.

Объяснение этого феномена — в тематической важности контекстов употребления этих слов (ср. центральное не только в средневековом мировоззрении противопоставление вечного, небесного, нетленного — преходящему, земному, тленному, бренному).

Итак, специфика древнеписьменного языка такова, что устаревшая (или обладающая формальными признаками устаревшей) лексика в нем может сознательно сохраняться, а слова, почти вышедшие на раннем этапе из употребления, способны перейти на более позднем этапе в разряд достаточно активных слов.

Но и в письменно-литературном языке древности можно обнаружить слова, традиция употребления которых прекращается: примером может служить др.-русск. *гльнь* «влага, жидкость, сок, слизь», известное по нескольким употреблениям в русских конфессиональных памятниках XI—XIV вв., двум — в Великих Четьих Минях XVI в. и толкующееся (как темное) в Словаре Барсова XVII в. В более поздних источниках слово не засвидетельствовано.

Укажем факторы историко-лингвистического характера, приводящие к архаизации и — далее — утрате⁸ слов литературного языка.

Архаизация лексем может быть вызвана фонологическими трудностями. Как это часто бывает в языке, выделенный единичный фактор не проявляется в чистом виде. Так, некоторые односложные (после падения редуцированных) имена русского языка, которые — с определенной поры — могли бы характеризоваться беглым гласным в корне и существенными различиями основ, выступающих в падежных формах (типа др.-русск. *сьльъ, зьдь, щьльъ*), утрачены, хотя другие слова аналогичной структуры, включенные устойчивыми связями в лексическую систему языка (типа *сьнь, днь, льбъ*), относятся к числу активных, живых слов, имеющих непрерывную традицию употребления с древнейшей поры до наших дней. Заведомо очевидно, что число лексических утрат, стимулированных фонологическими трудностями, относительно невелико.

Целые разряды слов архаизируются и выводятся из языка в связи с развитием его словообразовательной и морфологической систем. Так, дифференциация существительных и прилагательных и перестройка системы склонения существительных устраняет из литературного языка много имен (примеры общеизвестны). В связи с развитием словообразова-

⁷ *Брение* и *бренodelатель* признаются славянскими в двух изданиях Словаря Академии Российской, см. [9].

⁸ Окончательная утрата архаизирующегося элемента может осуществляться за пределами рассматриваемого периода: на том этапе, когда литературный язык имеет не только письменную, но и устную форму, т. е. в XVIII—XIX вв.

тельной (и лексико-семантической) системы глагола архаизируются многие бесприставочные образования (типа *ключати* «включать, запираť»; *ключити* «заклѹчить, запереть»; *ключитися* «случиться»); древнерусские переписчики старших памятников достаточно последовательно по мере приближения к новому времени заменяют эти слова синонимами типа *заклѹчити*, *прилѹчитися*, *годитися*, *угодитися*.

Особый интерес представляют архаические типы лексических значений, обнаруживающиеся в языке ранней средневековой эпохи, при объяснении которых следует учитывать особенности сознания средневекового человека. Как установлено усилиями ряда исследователей (ср. особенно [10]), понятия средневекового человека были более конкретными, предметно-чувственными, комплексными, диффузными. В религиозно-мифологическом сознании этой эпохи⁹ недостаточно дифференцированные категории пространства и времени, например, выступают в качестве определенных сил, управляющих вещами и жизнью людей. Они эмоционально окрашены, могут быть добрыми и злыми, благоприятными и неблагоприятными. О том, что категория средневекового пространства существенно отличается от современной, свидетельствуют русские иконы, пространство которых качественно разнородно и нецелостно. В связи со сказанным понятно, почему ст.-слав. *пространство* имеет не согласующиеся с точки зрения современного сознания значения «простор, пространство» и «искренность, откровенность», т. е. «доброжелательная открытость, прямота (речи)» [11]¹⁰. В связи с историей русской литературной лексики обратим внимание на совпадение значений («довольство, достаток»; «приволье, свобода»), характерных с XI в. для др.-русс. *просторъ* и книжного др.-русс. *пространство*, засвидетельствованного в начальных частях Новгородской III и Псковской I летописей. Об особых отношениях средневековых категорий пространства и времени и их специфике напоминают употребления книжного *пространство* в значении «промежуток времени, время» (*пространство... жити* — в Библии Геннадия 1499 г.; в латинском тексте библии соответствие имеет значение «время, пора»)¹¹, а также «простор»; «свобода, веселье, радость» [в летописных (в Лавр. лет. под 1096 г., т. е. в части, редактировавшейся до 1119 г.) и конфессиональных (Библи. Генн. 1499 г.) текстах¹²]. Показательно, что в Словаре церковнославянского и русского языка (1867 г.) у слова *пространство* наряду со значением «протяжение места, обширность» дается второе — «вместительность, свободное положение»; «благосостояние, приволье», которое документируется примером из Полного собрания русских летописей.

Выработке в новом литературном языке абстрактных значений, под которые подводятся дифференцированные и суженные отвлеченные понятия, господствующее в современной системе абстрактного мышления, предшествовала специализация значений слов книжного языка, которые, в силу своей оторванности от сферы быта, оказались удобными для создания специальной научной терминологии и абстрактной лексики. Так, на базе значения «простор» книжного слова *пространство* (ср. также прилаг. *пространный* «широкий») возникает в новом литературном языке абстрактный термин *пространство*. Анализ истории этого значения (на протяжении XVIII—XIX вв.) не связан с нашей задачей: достаточно ука-

⁹ Возникновение христианской письменной культуры на Руси, как известно, связано с периодом перехода от мифологического сознания к историческому.

¹⁰ Р. М. Цейтлин [11] предлагает в этом случае выделить омонимы, что, на наш взгляд, нежелательно, так как такое решение скрывает особенности архаической семантики слова.

¹¹ Ср. в связи со сказанным засвидетельствованное в картотеке Архангельского словаря, издание которого осуществляется Лабораторией кафедры русского языка филологического факультета МГУ под руководством О. Г. Гецовой, *пространство* в значении «расстояние во времени, промежуток времени между двумя событиями» [*двѣно пространство — эти-то мѣсяцы (между уборкой и посевной)*].

¹² (1096): *На семь свѣтъ приими веселье и просторность*. Лавр. лет. (в Акад. списке — *пространство*; Радзв. лет. — *пространство*). *Приемазу пищу въ радости и въ пространствѣ срѣца*. Библи. Генн., 1499 г.

зять, что непосредственным продолжением активного древнерусского книжного слова в живом (имеющем непрерывную традицию употребления), но существенно видоизмененном значении является один из центральных терминов пространственной лексики нового русского литературного языка. Архаикой, сохранявшейся на протяжении всего рассматриваемого периода, были добавочные значения: «свобода», «веселье, радость», соотносившиеся по традиции с основными — «простор», «широта» (и пространства, и времени, и того, что мыслится, существует в пространстве и времени).

Таким образом, древнерусский литературный язык законсервировал весьма архаические типы значений — членившиеся на несколько значений с точки зрения современного человека, но, по-видимому, единые с точки зрения человека, пользовавшегося этим языком (во всяком случае, в древнейший период).

ЛИТЕРАТУРА

1. Жуковская Л. П. Лексические варианты в древних славянских рукописях. — В кн.: Исследования по исторической лексикологии и лексикографии. М., 1964, с. 5—6.
2. Розов Н. Н. Книга древней Руси XI—XIV вв. М., 1977.
3. Богатова Г. А. Диахронический словарь в системе словарей исторического цикла (к специфике способов описания семантической истории слова). — В кн.: Теория и практика русской исторической лексикографии. М., 1984.
4. Дурново Н. Н. К вопросу о национальности славянского переводчика Хрономика Георгия Амартола. — *Slavia*, 1925, год. IV, в. 3, с. 446—447.
5. Кандаурова Т. Н. Ассимиляция маркированных церковнославянизмов в древнерусских памятниках XI—XIV веков. — В кн.: Проблемы общего и русского языкознания. М., 1972, с. 101.
6. Виноградов В. В. К истории лексики русского литературного языка. — В кн.: Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.
7. Нимчук В. В. Древнерусская лексика в Изборнике 1076 г. — В кн.: Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии: Тезисы докладов. М., 1984, с. 82.
8. Этимологический словарь славянских языков. Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 3. М., 1976, с. 69—70.
9. Замкова В. В. Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке XVIII в. Л., 1975, с. 27.
10. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
11. Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка. М., 1977, с. 151.